

Tabachnikova, Olga

Достоевский в англоязычной аудитории : опыт преподавания "Преступления и наказания" британским студентам

Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 25-47

ISSN 1212-1509 (print); ISSN 2336-4491 (online)

Stable URL (DOI): <https://doi.org/10.5817/SL2022-1-4>

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/145063>

License: [CC BY-SA 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Access Date: 28. 11. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

Достоевский в англоязычной аудитории: опыт преподавания «Преступления и наказания» британским студентам

Ольга Табачникова (Preston)

Аннотация

Автор статьи описывает свой опыт преподавания романа «Преступление и наказание» знаменитого русского писателя Федора Михайловича Достоевского британским студентам. Исследовательница делает акцент на разнице между западной и русской философией и литературой. После подробного погружения в русский культурный контекст (необходимого из-за ментальных различий человека русской культуры и британца) автор переходит к анализу романа, сравнивая его героев с героями других произведений русской литературы и обращая внимание студентов на наиболее важные с её точки зрения аспекты произведения.

Ключевые слова

Фёдор Михайлович Достоевский; *Преступление и наказание*; русская литература; преподавание русской литературы; русская философия

Abstract

Dostoevsky in English: Teaching *Crime and Punishment* to British Students

The author of the article describes her experience of teaching the novel *Crime and Punishment* by the celebrated Russian writer Fyodor Dostoevsky to British students. The researcher emphasises the difference between Western and Russian philosophy and literature, and gives a detailed description of the Russian cultural context. ShFrom a discussion of civilizational differences, the author then moves on to the actual analysis of the novel, and places its heroes in the broader framework of Russian literature. In doing so, she draws attention to what she deems the most significant aspects of Dostoevsky's work.

Key words

Fyodor Dostoyevsky; *Crime and Punishment*; Russian Literature; Teaching of Russian literature; Russian Philosophy

Достоевский продолжает пользоваться популярностью на Западе, где воспринимается как идиосинкратический и исконно русский писатель, одержимый идеей страдания, и одновременно как проповедник философских идей вселенского масштаба, предвестник экзистенциализма, фрейдизма и других течений; как провидец. В то же время грандиозность Достоевского, его неуёмное стремление дойти до последней правды (которая у каждого персонажа оказывается своей), докопаться до страшных откровений и сырой, дымящейся основы бытия часто отпугивает западную аудиторию, а сочинения Достоевского называют клаустрофобными, загоняющими читателя в безысходные тупики собственного сознания. Тем самым, образ Достоевского для западной аудитории представляется одновременно манящим и пугающим и часто сливается с образом загадочной русской души и таинственной, непостижимой России.

Как объяснить Достоевского западным студентам (прочитавшим его лишь в переводе), оторванным от российского контекста, от классического русского наследия? Как увязать его с их представлениями о жизни и литературе? В своей статье я расскажу именно о таком опыте – о преподавании романа «Преступление и наказание» в университетах Великобритании, с отсылками к общечеловеческим темам, к произведениям русской литературы более позднего периода, а также к экранизациям этого романа как в России, так и в Великобритании.

Этическое измерение русской литературы

Прежде всего следует определиться с целями и задачами преподавания литературы вообще, и в частности русской литературы, особенно если речь идет об иностранной аудитории. Этот вроде бы простой вопрос не столь однозначен, как кажется, ибо является по сути вопросом мировоззренческим. Действительно, то, что традиционно преподносится студентам, представляет собой некий сплав литературоведения, литературной критики и истории литературы, в том числе понимаемой и как история идей. В то же время даже в самом понимании литературоведения не существует консенсуса. На одном полюсе практикуется отношение к литературоведению как к научной дисциплине, с другой же существует мнение, емко выраженное в свое время Юрием Карабчиевским: «*филология убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой*», хотя бы потому, что «*любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности*».¹

И различия между этими полюсами, возможно, сродни различиям между умозрительной западной философией и страстным русским философствованием, о котором так хорошо сказал Чеслав Милош: «*никакого богословия и никакой схола-*

1 KARABČIJEVSKIJ, Jurij: «*Poslesloviје avtora*». Voskresenje Majakovskogo (29.03.2015). Sr. izdanije: Moskva: «Sovetskij pisatel'», 1990, s. 217–218. Первое изд., без «*Послесловия*». Мюнхен: «Страна и мир», 1985.

*стической философии в прошлом, [...] зато тьма философствующих, причем страстно философствующих, каждый на свой лад».*²

Но дело обстоит еще сложнее, ибо то, что мы подразумеваем под литературой, тоже не является однозначным, и граница между высоким искусством словесности и бездумным развлекательным чтивом нередко представляется спорной и субъективной.

В результате, несмотря даже на канонический список текстов и авторов, особенно в отношении русской классики, каждый преподаватель в конечном счете имеет известную степень свободы в подходах, трактовках и подаче материала и по сути сам определяет для себя, если не что преподавать, то, по крайней мере, как. Лично мне представляется первостепенным, углубляясь в изучение деревьев, не потерять за ними лес. Ибо к классической русской литературе, часто определяемой как одна из самых совестливых мировых литератур, применима формулировка, которую Василий Зеньковский использовал для характеристики русской философии, говоря о ее предельной антропоцентричности, предельной занятости «темой о человеке, о его судьбе и путях [...]». *Прежде всего это сказывается в том, насколько всюду доминирует (даже в отвлечённых проблемах) моральная установка».*³ и именно с этих позиций, как мне кажется, важно открыть западному студенту вход в мир русской словесности – с позиций взгляда на литературу как на совесть, как на нравственный компас, дающий (не более и не менее!) личную ориентировку в пространстве жизни. Ибо здесь «*чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор».*⁴ Тем более, что, в отличие от западной литературы, литература русская традиционно вобрала в себя все остальные дискурсы – и философию, и социологию, и историю, и религию. Ее исповедальный характер, ее мученический ореол, роль писателя как пророка, чьи слова нередко оплачены кровью и самой жизнью – незнакомы и непривычны западному читателю, в чьем мире слово остается только равным себе, принадлежит к области интеллектуальной игры и не замахивается с необходимостью на метафизические пропасти. Русская же литература – там, где западная словесность пытается обустроить и укрепить хлипкое гнездо человечества в его земном существовании – традиционно зависит над бездонностью экзистенциальной трагедии, не отводя глаз, а напротив как будто шагнув одной ногой в пропасть. Как пронзительно определил искусство Фазиль Искандер: «*Только движение души достойно слова».*⁵ И именно такой подход мне представляется насущным, именно мировоззренческие, ценностные ориентиры мне хочется донести до моих британских студентов в процессе преподавания им

2 MIŁOSZ, Czesław: *Šestov, ili O čistote otčajanija: vstupitel'naja stat'ja*. Per. s franc. S. Murav'jeva // Šestov L. Kirkegard i èkzistencial'naja filosofija (Glas vopijuščego v pustyne). Moskva: Gnozis, 1992, s. IV (I–XVI).

3 ZEN'KOVSKIJ, V.: *Istorija russkoj filosofii (v dvuch tomach)*. T. I. Rostov-na-Donu: Feniks, 1999, s. 18–19.

4 BRODSKIJ, Iosif: *Nobelevskaja lekcija*, см. [Elektronnyj resurs] URL: <http://noblit.ru/node/1338>

5 ISKANDER, Fazil': «*O Sereže Dovolatove»*, см. [Elektronnyj resurs] URL: <http://www.sergeidovlatov.com/words.html>

русской классики, чтобы позволить им как бы прикоснуться к душе нации и тем самым ощутить рычаги русской истории и понять ее сегодняшний день.

Именно поэтому, начиная изучение «Преступления и наказания», я обращаюсь прежде всего не к литературоведческим понятиям как таковым, но цитирую Искандера – писателя высокой нравственной силы и мудрости, много размышлявшего о русской литературе, – который считал, что «человек, прочитавший «Преступление и наказание», гораздо менее способен убить другого человека, чем человек, не читавший этого романа», ибо «убивая человека, ты слишком многое убиваешь заодно с ним, и прежде всего свою душу». ⁶ И цитирую потому, что именно это этическое измерение мне кажется главным, без которого и эстетическое не может быть оценено по достоинству.

Подготовка почвы: русский культурный контекст

Но для того, чтобы донести этическую значимость и философский смысл романа до иностранных студентов, необходимо ввести их не только в исторический и литературный, но и в общекультурный контекст, открыть для них соответствующую систему координат, в которой разворачивается действие русской классики. И в рамках такого комплексного подхода, вводная лекция, которой я открываю свой курс по русскому роману 19-го века, посвящена нелегкой (подчас даже спорной) теме культурных констант. Что имеется в виду? Постулат о том, что для каждой национальной культуры существуют наиболее семантически значимые узлы, если угодно, священные символы, на которых строится культурная история данной нации и которые определяют ее культурное сознание. Это действительно скользкая почва, где всякое обобщение опасно впадением в стереотипы. Как замечает Сергей Аверинцев, «архетипическое само по себе – не содержательная характеристика явлений, а только их отвлеченно-формальное структурирование». ⁷ Более того, «завышенная оценка значения констант, столь характерная и для интерпретаторов русской истории типа Пайпса, и порой для их патриотических российских оппонентов, есть гносеологическая ошибка. Русская жизнь, как всякая иная, подвержена глубинным изменениям, вносящим скрытое несходство даже в то, что внешне сходно. А потому, приступая к рассмотрению констант русского сознания, я не хотел бы внушать ни себе самому, ни другим преувеличенного представления об их роли». ⁸ И тем не менее, сделав подобные оговорки, Аверинцев переходит непосредственно к обсуждению русских культурных констант! И среди них выделяет, опять-таки не без известных предосторожностей, «определенную меру перевеса личного подвига

6 ISKANDER, Fazil': «Razmyšlenija pisatelja», Lastočino gnezdo. Proza. Poezija. Publicistika. Moskva: Fortuna Limited, 1999, s. 340, см. [Elektronnyj resurs] URL: http://lib.ru/FISKANDER/isk_publ.txt, 20 04 22 13:37

7 AVERINCEV, Sergej: *Svjaz' vremen*. Kijev: Duch i Litera, 2005, см. [Elektronnyj resurs] URL: <http://www.fedy-diary.ru/html/042011/11042011-05a.html>

8 Там же.

над всем корпоративным и институциональным, которая – скажем так – относительно чаще встречается в нашей культурной истории, нежели в истории западных культур».⁹

От концепции личного подвига мы переходим со студентами к обсуждению роли писателя и поэта, которая в российском контексте традиционно наделена чертами святости и неотрывна от жертвоприношения. В этом же ключе мы говорим и о взаимоотношении греховности и поисков смысла, когда, выражаясь словами американского слависта Дэвида Бетеи, в русской традиции «страшен был не столько грех, как, скажем, на католическом или протестантском Западе, сколько космическое равнодушие, бессмысленность».¹⁰

Но, пожалуй, ключевыми в этом обсуждении являются различия в самой концепции человека, где расхождения между русскими и западными (по крайней мере принятыми в Британии) представлениями продолжают стремительно расти. Действительно, для русского культурного сознания сущность человека гораздо более неизменна и строго детерминирована, «дана свыше», тогда как для сознания, условно говоря, западно-европейского этот концепт предполагает немалую степень гибкости и вариативности, включая и изменения пола и многих других идентичностей, обуславливающих человеческую личность. Одновременно мы ведем речь и о социальном устройстве и практике, и здесь я обычно привожу еще одну цитату из Фазиля Искандера – о том, что «русский человек силен этическим порывом и слаб в исполнении этических законов. Могучий этический порыв, может быть, – следствие ужаса при виде этического беззакония».¹¹ «Результаты всего этого?», вопрошает писатель устами своего героя, и дает ответ: «Великая литература и ничтожная государственность».¹² И в этой связи мы говорим о такой чрезвычайно важной черте английской ментальности как законопослушание, противопоставляя ей условность и релятивизм российских юридических реалий. А конкретнее, о том, что в российской системе координат человек противопоставлен преимущественно другому человеку, а не, как в Британии, государственной машине, не ведающей исключений, перед которой все равны. И если с машиной не поспоришь (и это гарантирует равенство всех перед законом, что, безусловно, хорошо, но при этом не оставляет никакой надежды на исключение из правил в каждом конкретном случае), то с другим человеком всегда остается шанс на его личное вам сострадание, на его человечность, на исключение лично для вас (что вообще говоря несправедливо, но может оказаться спасительным в вашем конкретном случае).

В свете этих наблюдений снова вспоминается Искандер и его мысли о взаимоотношениях совести и законности. «Воцарившись в обществе – как главный пафос жизни, – закон не вытесняет ли совесть? [...] Если закон становится преимущественным пафосом жизни, совесть хиреет. Но как бы ни были развиты законы, всегда были, есть и будут случаи в жизни, где человек должен действовать, согласуясь с совестью. Но как же

9 Там же.

10 BETHEA, David: 'Literature'. In: RZHEVSKY, Nicholas (ed.): The Cambridge Companion to Modern Russian Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 174.

11 ISKANDER, Fazil': «Poët», см. [Elektronnyj resurs] URL: http://apsnyteka.org/559-iskander_f_poet.html

12 Там же.

ему действовать, согласуясь с совестью, если она у него усохла? и усохла именно потому, что хорошо развелись законы и человек привык себя ограничивать только законом?».¹³

Эти парадоксальные идеи оказываются непривычными и удивительными для британских студентов и уже непосредственно подводят нас к разговору об основополагающей константе русского культурного сознания – взаимоотношениях между милосердием и справедливостью. И здесь необходимой оказывается отсылка в 11 век, к первому русскому (в отличие от его византийских предшественников на этом посту) митрополиту Илариону, с его «Словом о Законе и Благодати» и с мыслями о приоритете морали над правом, ибо закон – это лишь тень истины, а не сама истина, поскольку он установлен государственной, а не божественной властью, и поэтому обладает только юридическим, но не нравственным содержанием.

В 19-м веке эту мысль мощно развивает Пушкин во многих своих произведениях, но наиболее явно и выпукло – в «Капитанской дочке», которую мы изучаем в непосредственной хронологической близости к «Преступлению и наказанию». Как писал на эту тему Юрий Лотман: «противопоставление милости и правосудия, невозможное ни для просветителей XVIII в., ни для декабристов, глубоко знаменательно для Пушкина. Справедливость – следование законам – осуждает на казнь сначала Клавдио, а затем и самого Анджело, милость – спасает их: «И Дук его простил...» Петр «прощенье торжествует, / Как победу над врагом», «виноватому вину / Отпуская, веселится...». Тема милости становится одной из основных для позднего Пушкина. Он включил в «Памятник» как одну из своих высших духовных заслуг то, что он «милость к падшим призывал».¹⁴

В 20-м веке эта иерархия ценностей продолжает жить в русской литературе, и обнаружить примеры этой преемственности не представляет большого труда. Так я привожу студентам цитату из довлатовских «Записных книжек», которую он после использовал и в своих художественных произведениях, где эта мысль выражена в самом явном виде: «Что может быть важнее справедливости? – Важнее справедливости? Хотя бы – милость к падшим».¹⁵

Кроме «Капитанской дочки», прежде, чем обратиться к Достоевскому и начать изучение «Преступления и наказания», студенты проходят также «Шинель» Гоголя и «Героя нашего времени» Лермонтова. Таким образом создается соответствующее семантическое и идейное поле, необходимое для восприятия Достоевского именно в русском культурном контексте, в системе тех ценностей, без понимания которых увидеть Достоевского изнутри русской культуры, как мне кажется, не представляется возможным. При этом важно также подчеркнуть и чисто практические рамки, в которые оказывается заключен преподаватель, ибо время для изучения русской классики крайне ограничено и как следствие стоящая перед

13 ISKANDER, Fazil': «Dumažuščij o Rossii i amerikanec». Novaja gazeta, № 84, 3 avgusta 2016, см. [Elektronnyj resurs] URL: <https://novyagazeta.ru/articles/2016/08/03/69451-fazil-iskander-dumayuschiy-o-rossii-i-amerikanec>

14 LOTMAN, Ju. M.: *Idejnaja struktura „Kapitanskoj dočki“*. (LOTMAN, Ju. M.: Puškin. SPb., 1995, s. 212–227), [Elektronnyj resurs] URL: <http://www.philology.ru/literature2/lotman-95.htm>

15 DOVLATOV, Sergej: *Sobranije prozy v 3 tomach*. Limbus-Press, SPb., 1993, s. 303.

лектором задача сводится к вычленению только самого значимого, насущно-го, только к передаче студентам ключа к той вселенной, которую являют собой произведения русской классической литературы, и, в частности, знаменитый роман Достоевского.

Казалось бы, почва подготовлена. Однако культурные барьеры, разность ценностных установок дает себя знать уже на этапе изучения той же «*Капитанской дочки*». Так Петр Гринев не воспринимается британскими студентами как однозначно положительный персонаж, способный к героизму, ибо, несмотря на отвагу и готовность к самопожертвованию, он остается в их глазах прежде всего нарушителем присяги, то есть попирает самую священную ценность их родной культуры (о которой речь шла выше) – закон! «А что если бы каждый для спасения своей невесты покинул свой пост?!» вопрошают они с негодованием, ибо живут в иной по отношению к русской культуре системе координат. Поэтому и восприятие «*Капитанской дочки*» с позиций дихотомии «милосердие или справедливость», столь убедительно изложенной Лотманом, не встречает у них по-настоящему живого отклика. Действительно, как пишет Лотман: героев «*спасает человечность*», ибо Пугачев «*поступает так, как ему велят не политические соображения, а человеческое чувство. Он милостив, следовательно, непоследователен, ибо отступает от принципов, которые сам считает справедливыми. Но эта непоследовательность спасительна, ибо человечность таит в себе возможность более глубоких исторических концепций, чем социально оправданные, но схематичные и социально релятивные «законы».*

*Судьба Гринева, осужденного – и, с точки зрения формальной законности дворянского государства, справедливо, – в руках Екатерины II. Как глава дворянского государства Екатерина II должна осуществить правосудие и, следовательно, осудить Гринева. Замечателен разговор ее с Машей Мироновой: «Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» – «Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия».*¹⁶ Ясно, что такая постановка вопроса не укладывается в прокрустово ложе законности.

Подобные ментальные расхождения только усугубляются при переходе к Достоевскому. Действительно, герои Достоевского не находят себе реальных прототипов в западной повседневности, хотя в английском языке и существует выражение для описания одиозных персонажей: «больше самой жизни» (*larger than life*). Рассуждая в славянофильском ключе, можно говорить, что дело здесь не столько в страстности, лихом размахе или дерзости, сколько в иррациональности. Ибо само устройство жизни, ее этос, включая и подход к школьному образованию, в Британии пропитаны идеей прагматической целесообразности. Из педагогики как будто намеренно изъято романтическое отношение к жизни как к поэзии, и даже любовь преподносится скорее в медицинско-гедонистских терминах, низведенная до рационально-плотской составляющей.

16 LOTMAN, Ju. M.: *Idejnaja struktura „Kapitanskoj dočki“*. (LOTMAN, Ju. M.: Puškin. SPb., 1995, s. 212–227), [Elektronnyj resurs] URL: <http://www.philology.ru/literature2/lotman-95.htm>

И если подобные формулы о Западе как рассаднике рационализма отдают почвеннической предвзятостью, то утверждения Александра Шмемана о максимализме русской традиции остаются безупречно нейтральными и лишь констатируют факты: «культура связана с чувством меры, с ощущением границы. Уже древние греки, создатели одной из величайших мировых культур, <...> в центр понимания культуры поставили понятие метрós <...>, означающее как раз меру, гармонию, а следовательно, и естественную ограниченность любого совершенства. <...> Один из парадоксов русской культуры <...> заключается в том, что важнейшей ее составной чертой с самого начала оказалось как раз своеобразное отрицание вот этого “метрós”, своеобразный пафос максимализма, стремящегося к устранению и меры, и границы. Парадоксальность этой черты состоит в том, что пафос максимализма присущ именно самой русской культуре».¹⁷ Истоки этого явления Шмеман видит «в принятии Древней Русью византийского христианства», где присущий христианству максимализм был смягчен «веками культурного развития», тогда как «Киевская Русь такого культурного наследия не имела», в результате чего «византийское христианство было воспринято Русью одновременно и как вера, и как культура».¹⁸ Как писал Андрей Битов о русской литературе 19-го века: «Лишь Пушкин и Чехов аккуратно обрамляют это роскошное варево жанров и стилей. [...] Типично русская пропасть между художественной культурой и цивилизацией была преодолена лишь в этих двух культурных героях».¹⁹ Достоевский же, чьи романы полны надрыва, буйства и скандала, выбивается из всякого чувства меры, да и вообще выбивается из всяких рамок, взрывая литературные каноны и уводя читателя в «темные колодцы его собственного подсознания»,²⁰ о которых тот доселе и не подозревал.

Но непривычное и неизведанное не обязательно отталкивает. И тропа к Достоевскому предназначена «для тех, кто не боится головокружения» (как писал Лев Шестов по сходному поводу).²¹ Ибо Достоевский ведет нас над пропастью. «Никто так не закруживал в бездне, как Достоевский, так не бросал вплотную к последним вопросам, не извлекал из моих лопаток крылья», пишет философ Григорий Померанц.²² Аналогичны и впечатления Николая Бердяева: «Все написанное Достоевским [...] есть вихревая антропология, там открывается все в экстатически-огненной атмосфере. Достоевский открывает новую мистическую науку о человеке. Доступ к этой науке воз-

17 ŠMEMAN, A.D.: *Osnovy russoj kul'tury: Besedy na Radio Svoboda*. 1970–1971. Moskva: Izd-vo Pravoslavnogo Svjato-Tichonovskogo gumanitarnogo universiteta, 2017. 416 s. [Elektronnyj resurs] URL: <http://www.pravmir.ru/protopresviter-aleksandr-shmeman-istoki-maksimalizma-v-russkoj-kulture/>

18 Там же.

19 БИТОВ, Андрей: «Мoj deduška Čechov i pradeduška Puškin // Četyreždy Čechov». Sost. I. Klech. Moskva: Emergency Exit, 2004, s. 11.

20 PEACE, Richard: 'Introduction' to *Fyodor Dostoevsky's 'Crime and Punishment'*. A Casebook. Ed. Richard Peace. New York: Oxford University Press, 2006, p. 16.

21 Эпиграф ко второй части знаменитой работы Шестова «Апофеоз беспочвенности» 1905-го года.

22 POMERANC, Grigorij: «Открытость' bezdne. Vstreči s Dostojevskim», [Elektronnyj resurs] URL: https://royallib.com/book/pomerants_grigorij/otkritost_bezdne_vstrechi_s_dostoevskim.html

можен лишь для тех, которые будут вовлечены в вихрь».²³ И здесь необходимо очень аккуратно нащупать и отобрать для обсуждения со студентами именно те магистральные темы писателя, которые вызовут максимальный общечеловеческий отклик, преодолеют культурные различия.

О природе зла. Теория Родиона Раскольников. Наполеоновская линия в русской классике

Среди таких тем я обычно выделяю следующие, которые центрированно сходятся к главному герою – Родиону Раскольникову – и его печально известной теории, но при этом охватывают целый спектр философских дебатов о природе зла:

- Рациональное и иррациональное начало. Отношение к разуму у Достоевского.
- Технологический прогресс и духовная эволюция человечества.
- Роль страдания в человеческой жизни. Полемика с идеями Просвещения.
- Концепция человеко-Бога у Достоевского, тема «сверхчеловека», «наполеоновская» линия в литературе;
- необходимость и свобода выбора, своеволие и смирение;
- полемика Достоевского с социалистической доктриной;
- атеистическое и религиозное сознание, вера и безверие.

Все эти вечные, «проклятые» вопросы на самом деле неразрывно связаны друг с другом, что становится очевидным по мере обсуждения.

Но вначале я пунктирно очерчиваю биографию писателя, выделяя ее основные «болевые» точки: смерть матери; вероятное убийство отца; смертельный приговор молодому Достоевскому, отмененный в последнюю минуту; ссылка; обращение к Богу; приступы эпилепсии; пагубная страсть к игре, равно как и к Аполлинарии Сусловой; славянофильство и почвенничество; брат Михаил; два брака, дети; бедность и слава. И указываю на то, что с молодых ногтей Достоевский был одержим загадкой человека: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»,²⁴ писал он брату Михаилу еще в 1839-м году. И что именно эта экзистенциальная загадка определяет вектор его жизненных поисков («он

23 BERDJAJEV, Nikolaj: «Откровение о человеке в творчестве Достоевского». Русская мысль, 1918. Кн. III–IV, см. [Elektronnyj resurs] URL: <https://www.vchi.net/berdyayev/otkrov.html>.

24 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: *Pis'mo bratu M. M. Dostoevskomu ot 16 avgusta 1839 g.* Sobranije sočinenij v 15 tomach, t. 15, s. 21. [Elektronnyj resurs] URL: <https://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/354.htm>, 20 04 22, 13:38.

знает одно движение – вовнутрь человека»)²⁵ и, в частности, его пристальное, даже болезненное, внимание к природе зла.

Как писал по этому поводу Иосиф Бродский в своем эссе о Достоевском: «У классицизма он научился чрезвычайно важному принципу: прежде чем изложить свои доводы, как сильно ни ощущаешь ты свою правоту и даже праведность, следует сначала перечислить все аргументы противной стороны. Дело даже не в том, что в процессе перечисления опровергаемых доводов можно склониться на противоположную сторону: просто такое перечисление само по себе процесс весьма увлекательный. В конце концов, можно и остаться при своих убеждениях; однако, осветив все доводы в пользу Зла, постулаты истинной Веры произносишь уже скорее с ностальгией, чем с рвением».²⁶

После этой цитаты мы знакомимся со сходной цитатой из Льва Шестова, большого поклонника и последователя Достоевского: «Борясь со злом, он выдвигал в его защиту такие аргументы, о которых оно и мечтает никогда не смело. Сама совесть взяла на себя дело зла! [...] его сочинения напоминают речи тех проповедников, которые, под предлогом борьбы с безнравственностью, рисуют злещательные картины соблазна...».²⁷

Та же мысль звучит и столетие спустя: «Нельзя не заметить, что Достоевский с особенным вдохновением и даже личным сладострастием описывает человеческую низость. В сущности, он полемизирует со всей мировой гуманистической мыслью: мол, человек сам по себе хорош, но его портят плохие социальные условия».²⁸

Это подводит нас к полемике Достоевского с социалистической доктриной, равно как и с утопическими идеями Просвещения, стремившегося раз и навсегда освободить человечество от страдания. И чтобы ввести студентов в русло этой полемики, мы обращаемся к тексту «Записок из подполья», а именно, обсуждаем знаменитые слова подпольного человека о стремлении всякой личности к самостоятельному хотению, пусть даже оно и противоречит собственной выгоде и здравому смыслу, и ведет напрямик к страданию:

«Человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно [...]. Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного

25 BACHTIN, Michail: *Автор и герои. К философским основам гуманитарных наук*. СПб: Azbuka, 2000, s. 243.

26 BRODSKIJ, Iosif: «Vlast' stichij», см. [Elektronnyj resurs] URL: <https://rsp-souz.ru/stati/filosofiya-tvorchestva/442-iosif-brodskij-vlast-stikhij-o-dostoevskom.html> ('The Power of the Elements', p. 162), 20 04 22, 13:38.

27 ŠESTOV, Lev: «Dostojevskij i Nicše: filosofija tragedii». Sočinenija v dvuch tomach. Tomsk: Vodolej, 1996, I, s. 351.

28 ISKANDER, Fazil': «Ponemnogu o mnogom. Slučajnyje zapiski». Novyj mir, 2000, № 10, sm. [Elektronnyj resurs] URL: https://magazines.gorky.media/novy_mi/2000/10/ponemnogu-o-mnogom.html

хотенья? Человеку надо одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. [...] Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. [...] спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. [...] страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание – да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и дожил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения».²⁹

От обсуждения этого общечеловеческого парадокса, идущего вразрез с устремлениями социалистов, рационалистов и позитивистов, поскольку он исходит из иррациональной природы человека, а не умозрительных построений рая на земле за счет изменения к лучшему внешних условий существования, мы переходим уже непосредственно к Раскольникову и его «наполеоновской» теории. Еще одной теории о том, как насильственно осчастливить человечество и при этом оправдать принесенные жертвы.

И здесь я выхожу на прямой диалог со студентами и повторяю постановку вопроса в том виде, как это представлено в романе. А именно, что уничтожив всего одно – да еще и, по мнению Раскольникова, ничтожное и вредное – человеческое существо, «бессмысленную старушонку»³⁰ и используя ее деньги (накопленные за счет других, то есть нечестным путем!), он сделает человечество счастливым! Таким образом, на одной чаше весов оказывается одна (и притом жалкая!) человеческая жизнь, а на другой – всеобщее счастье человечества, ныне, присно и во веки веков! и тут мы подходим к основной дилемме, которая проходит красной нитью через всё «пятикнижие» Достоевского – к дилемме, известной больше по «Братьям Карамазовым» и заключенной в бессмертных словах Ивана о слезинке ребенка. Именно эту дилемму выразил Достоевский в своей, можно сказать, итоговой «Пушкинской речи» 1880-го года, говоря о Татьяне Лариной и ее выборе:

*Но я другому отдана
И буду век ему верна.*

Дав эту цитату, Достоевский вопрошает:

«Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, [...] Да, верна этому генералу [...]. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на

29 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: «Zapiski iz podpol'ja», [Elektronnyj resurs] URL: http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0290.shtml

30 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: «Prestuplenije i nakazanije», [Elektronnyj resurs] URL: http://az.lib.ru/d/dostoevskij_f_m/text_0060.shtml

несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? [...] Какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? [...] Представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. и вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, [...] смешное даже на иной взгляд существо.

[...] Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос».³¹

И в этот момент я обращаюсь к аудитории – и задаю этот вопрос каждому студенту лично! Готов ли он убить, замучить, принести в жертву одно человеческое существо, одного ребенка, погубив которого, он обеспечит счастье и благоденствие всему человечеству и на все времена. Ответы студентов поражают. Бывают, что целая группа, как один, отвечает: «Да, конечно!». Ибо чего не сделаешь для всеобщего счастья! Но при этом всегда находится один голос, утверждающий: «Нет, никогда!». Бывают и такие, кто говорит: «Теоретически, да, мог бы! Но практически – нет! Навести дуло на живого человека и нажать курок – нет, не смогу!». Иногда за этим следует и вопрос, почти риторический: «А кто смог бы! Никто бы не смог!». Здесь я напоминаю им, например, о Холокосте – когда в приказном порядке совершенно, казалось бы, здоровые психически солдаты Вермахта ничтоже сумняшеся отправляли в небытие тысячи невинных женщин и детей. и это было не в далеком средневековье, а всего лишь в прошлом веке. Но пожалуй самое поразительное, когда студент отвечает: «Да, мог бы!», но на следующий мой вопрос: «А что, если бы это был твой ребенок?!», он в ужасе восклицает: «Нет, тогда, конечно, нет!». «Но ведь это же всегда чей-то ребенок!», говорю я на это.

И далее мы возвращаемся к Достоевскому, к его «Пушкинской речи»: «Могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столь пострадавшим? Нет; чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина»,³² говорит Достоевский.

«Какова же связь этой истории с Раскольниковым?», спрашиваю я аудиторию. И предлагаю рассмотреть ту нравственную философию, которую проповедует Татьяна, по контрасту с философией Раскольникова, в которой воплотилась основная дилемма, выдвигаемая Достоевским. А именно, Раскольников якобы пытается «спасти человечество», но поскольку он, в отличие от Татьяны, готов пожертвовать другим человеком (Татьяна же жертвует только собой, своей жизнью, своим счастьем!), он мгновенно вырождается в обыкновенного преступ-

31 DOSTOJEVSKIJ, Fedor: *Puškinskaja reč'*, [Elektronnyj resurs] URL: http://az.lib.ru/d/dostoevskij_f_m/text_0340.shtml

32 Там же.

ника – ибо иезуитский лозунг «Цель оправдывает средства!» порочен по самой своей сути. Цель никогда не оправдывает средств – вместо этого средства меняют цель! – говорю я студентам.

«Если люди не слышат крика жабы под плугом, взрезающим землю, если они глухи, если жаба списана со счетов, потому что она оказалась среди тех, кто «осужден историей» – если побежденные никогда не стоят внимания, потому что история есть история победителей, – то такие победы докажут лишь свою несостоятельность, ибо в основе своей они разрушат те самые ценности, во имя которых и была предпринята битва».³³ Эту цитату из сэра Исаяи Берлина я привожу вслед за цитатами из Достоевского, чтобы привязка пророчеств русского романиста к катастрофам 20-го века стала явной. Более того, дальше мы слушаем песню на стихи немецкого поэта Ханса Энциенсбергера в исполнении Елены Камбуровой «Если бы не люди» – стихи, которые только уточняют вышеизложенное:

*Воистину великолепны великие замыслы:
Рай на земле, всеобщее братство, –
Всё это было бы вполне достижимо,
Если б не люди, если б не люди.*

*Люди только мешают,
Путаются под ногами,
Вечно чего-то хотят.
От них одни нефрятности,
Ах, если б не было людей...*

*Надо идти на штурм – освободить человечество,
А они не спеша идут к парикмахеру.
Сегодня на карту поставлено будущее,
А они говорят: недурно бы выпить пива!*

*Если б не они, если б не люди,
Какая настала бы жизнь...
Если б не они, если б не люди,
Как бы всё было просто...*

*Люди только мешают,
Путаются под ногами,
Вечно чего-то хотят.*

33 BERLIN, Isaiah: *The Magus of the North. J.G. Hamann and the Origins of Modern Irrationalism*. London: Fontana Press, 1994, p. 117.

*От них одни неприятности,
Ах, если б не было людей...*³⁴

И ровно те же мысли мы находим затем в «Преступлении и наказании»: «Если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! У них не человечество, развившись историческим, живым путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит всё человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! ... Оттого так и не любят живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна!».

И в этой же связи, завершая краткий анализ заблуждений Раскольниковова, мы снова обращаемся к словам Льва Шестова, в которых тот по своему обыкновению высмеивает основы умозрительной философии, оправдывающей и утверждающей превосходство общего над частным. Для Шестова утилитаризм, скрывающийся за возвышенной социальной риторикой, лежащей в основании большинства тоталитарных режимов, – это результат подчинения частного общей теории:

*«Все до сих пор изобретенные «утешения», говорит Шестов, – «вплоть до так называемых метафизических, ничего больше не представляют из себя, как комическую смесь общественных соображений с арифметикой, которая может быть исчерпана в своей сущности следующим принципом: «человек погиб – но это ничего; он погиб за правое дело. Правое дело – т. е. дело полезное обществу рано или поздно восторжествует и тысячи людей будут счастливы несчастьем одного. А тысяча – в этом никто, разумеется, не может сомневаться – больше, чем один.» Стало быть, жертва оправдана?»*³⁵

Здесь мы сталкиваемся, в частности, с порочностью чисто рассудочного сознания. Ибо Раскольников вынашивал свою теорию в герметично замкнутой тюрьме своего разума, столь же наглухо отделенной от человечества, как и его петербургская каморка, похожая на гроб. Но в своих расчетах он исходил из ложного посыла о рациональности человеческого сознания, а столкнулся со своей собственной иррациональностью. Убив старуху, «он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего».³⁶ Лев Шестов, будучи философом-иррационалистом, считал именно Достоевского, а не Канта настоящим критиком чистого разума. И видел в его «фантастическом рассказе» «Сон смешного человека» метафизическое состояние человечества до грехопадения, до того, как, по Шестову, плоды с древа познания отравили человеческую душу. «Знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и [...] стремления их были тоже иные. Они

34 ENCENSBERGER, Chans: «O trudnostjach perevospitanija», [Elektronnyj resurs] URL: <https://prosodia.ru/catalog/stikhi/khans-magnus-entsensberger-v-perevodakh-vyacheslava-kupriyanova/>

35 ŠESTOV, Lev: *Turgenev*. <http://shestov.phonoarchive.org/turgenev.html>, 20 04 22, 13:40, s. 31.

36 DOSTOJEVSKIJ, Fedor: «Prestuplenije i nakazanije», [Elektronnyj resurs] URL: http://az.lib.ru/d/dostojewskij_fm/text_0060.shtml

не стремились к познанию жизни, как мы стремимся познать ее, потому что жизнь их была восполнена». ³⁷ «Ни в одной из современных теорий познания вопрос о сущности и назначении научного знания не поставлен с такой глубиной и остротой», ³⁸ утверждает Шестов. Он приводит слова Шатова Ставрогину из «Бесов»: «Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя бы приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные». ³⁹

По мнению Шестова, с которым я знакомя своих студентов, сочинения Достоевского показывают нам, во что может превратиться человеческая жизнь, отрезанная от Бога (а значит, и от совести) чисто абстрактным мышлением. В «Братьях Карамазовых» Достоевский высмеивает любые претензии науки на решение проблем человеческого духа. Так, Митя Карамазов рассказывает брату Алеше об открытии современника Достоевского, физиолога Клода Бернара, о том, что причиной его мыслительной способности являются «хвостики нервов» в мозгу: «*вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. [...] Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки Бога жалко!*». ⁴⁰

Для Достоевского, как говорил Бердяев, «*решить вопрос о человеке – значит решить вопрос о Боге*». Индивидуализм и нигилизм являются плодом атеистического сознания и ведут к искажению нравственного чувства, к появлению человеко-Бога, развенчанного Достоевским. В этом порочном сознании Раскольников не одинок. И здесь я пунктирно намечаю для студентов генеалогию этого образа не только в русской, но и в западно-европейской литературе, вспоминая и холодное превосходство Печорина, страдающего от неспособности любить другого, и Онегина (со знаменитым пушкинским «*мы все глядим в Наполеоны...*»), и Германа из «*Пиковой дамы*» (о котором приходится вкратце рассказать студентам, поскольку это произведение они еще не проходили), а также и героев Метьюрина, Гофмана, Байрона, Бальзака, Стендаля и Нодье, безусловно повлиявших на замысел Достоевского. Хотя Раскольников, в отличие от них, стремится осчастливить человечество, во всяком случае, так ему кажется. Его природа двойственна, его психика неустойчива, он соединяет в себе одновременно черты благородства и уродства, и его нигилизм – согласно замыслу Достоевского – это последняя ступень идеализма. Как писал Николай Страхов, Достоевский в образе Раскольникова вывел «...нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение

37 DOSTOJEVSKIJ, Fedor: «*Son smešného človeka*», *Polnoje sobranije sočinenij v 30 tomach*, t. 25, s. 113. Цитируется по ŠESTOV, Lev: *O 'pereroždenii ubeždenij' u Dostojevskogo*. [Elektronnyj resurs] URL: http://www.odinblago.ru/shestov_dostoevski, 20 04 22 13:44., s. 188.

38 ŠESTOV, Lev: *Na vesah Iova*. <https://predanie.ru/book/69949-na-vesah-iova/>, 20 04 22, 13:46. s. 91.

39 DOSTOJEVSKIJ, Fedor: «*Besy*». *Polnoje sobranije sočinenij v 30 tomach*, t. 10. Leningrad: Nauka, 1972, s. 199.

40 DOSTOJEVSKIJ, Fedor: «*Brat'ja Karamazovy*», [Elektronnyj resurs] URL: http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0100.shtml 20 04 22 13:49.

души, сопровождаемое жестоким страданием». ⁴¹ Раскольников предстает, по мнению Страхова, «истинным русским человеком», предающимся своей идее с религиозной одержимостью, с готовностью дойти «до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум». ⁴² При этом Франк Сили, британский литературовед, которого я также с удовольствием цитирую студентам, задается вопросом о порочности самой логики Раскольникова. Статья Раскольникова, говорит Сили, «утверждает, что обыкновенные люди относятся к необыкновенным как те, кто должны выполнять существующие законы к тем, кто имеет право преступить эти законы, если их «новое слово» – то есть, реализация их новых идей – потребует этого. Но ведь это совершенно некорректная корреляция», восклицает Сили, – «в реальности большинство тех, кто нарушает закон, в особенности тех, кто проливает чужую кровь, – абсолютно ординарны. Они не то что не имеют ничего нового, что они могли бы сказать человечеству, но даже и не помышляют об этом вовсе. Подавляющее же большинство тех, кто действительно могут сказать новое слово, – художники, писатели, ученые, философы или религиозные реформаторы – не нуждаются в том, чтобы проливать кровь или нарушать какие бы то ни было законы. Несомненно, что многие политические (или религиозные) новаторы действительно преступают закон и ведут к войне и кровопролитию; но поскольку такое поведение гораздо более отличает вполне ординарных, чем выдающихся личностей, то нет ни логического, ни исторического обоснования считать это определяющей характеристикой последних». ⁴³

Далее я ставлю перед студентами главный вопрос: что же противостоит гордыне Раскольникова, его зарвавшемуся разуму, оторвавшемуся от своих нравственных начал? Как всегда у Достоевского, сатанинской гордыне противостоит православное смирение, общей идее добра противостоит конкретная личная доброта (что, кстати, нашло отражение и в знаменитом парадоксальном заявлении Достоевского: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» ⁴⁴). Эту мысль русской классики в 20-м веке продолжил, в частности, Василий Гроссман в своем великом романе «Жизнь и судьба» – писатель, который в силу исторических причин стал уже свидетелем того, как теория Раскольникова и его последователей воплотилась в жизнь с катастрофическими последствиями. И таким образом, мы подходим к сердцу романа – к образу Сонечки Мармеладовой.

41 STRACHOV, N. N.: «*Prestuplenije i nakazanie*». Otečestvennyje zapiski, 1867, № 3, 4.

42 Там же.

43 SEELEY, Frank: *Saviour or Superman?* Old and New Essays on Tolstoy and Dostoevsky. Nottingham: Astra Press, 1999, p. 98.

44 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: *Sobranije sočinenij v 15 tomach*, t. 15. Leningrad: Nauka, 1988, s. 96.

О природе добра. Образ Сонечки Мармеладовой. Кинематографические решения, сравнительная рецепция

Андре Жид, один из ранних комментаторов Достоевского за рубежом России, более всего поражен именно этому православному смирению, которое находил не только у героев Достоевского, но и у самого писателя. Размышляя о личной переписке Федора Михайловича, Жид восклицает: «Ближе к концу – упоенный смирением, которым он опьянял героев своих романов, тем невероятным смирением русского, которое может быть хриstopодобным [...] и которое западный ум никогда до конца не поймет, поскольку считает любовь к самому себе добродетелью – ближе к концу он спрашивает: «Почему они должны отказывать мне? Я не предъявляю никаких требований. Я всего лишь смиренный проситель!..». Западные читатели будут протестовать против такого смирения и покаяния», – комментирует Жид. «Наша литература, слишком часто окрашенная кастильской гордостью, так основательно научила нас видеть благородство характера в непощении обид и оскорблений!».⁴⁵

Я обращаюсь к этим наблюдениям Андре Жида, прежде чем перейти непосредственно к обсуждению образа Сони, поскольку будучи впечатлениями со стороны, из Европы, снаружи русской культуры, они могут оказаться созвучны ощущениям моих британских студентов.

«...Таинственная сущность философии Достоевского, равно как и христианской этики; Божественный секрет счастья. Индивидуум торжествует, отказываясь от своей индивидуальности. Тот, кто проживает свою жизнь, лелея личность, теряет ее; а кто откажется от нее, обретет полноту жизни вечной, не в будущем, а в настоящем, соединившись с вечностью».⁴⁶ Жид неоднократно возвращается к этой идее, иллюстрируя ее различными отрывками из произведений Достоевского. Старец Зосима и молодой Алеша, князь Мышкин и бродячий крестьянин Макар Долгорукий – все они служат для него подтверждением того, что высшее счастье и добродетель в самопожертвовании и самоотречении. «Самые жалкие персонажи ближе к Царству Небесному, чем самые благородные. До такой степени в творчестве Достоевского господствуют эти глубокие истины. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». – «Ибо Сын Человеческий пришел спасти погибшее. С одной стороны, самоотречение и отречение от себя, с другой – утверждение личности, воля к власти, [...] в романах Достоевского воля к власти неизбежно ведет к гибели».⁴⁷

Сонино сердце оказывается мудрее изощренного ума Раскольникова. Только любовь способна превозмочь гордыню, только покаяние ведет к спасению. Только прощение всесильно. Эти простые евангельские истины мы постигаем на страницах Достоевского, но интересно, что и здесь британская трактовка существенно отличается от российской. Так мы со студентами сравниваем фрагменты

45 GIDE, Andre: *Dostoevsky*. [Elektronnyj resurs] URL: https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.169976/2015.169976.Dostoevsky-By-Andre-Gide_djvu.txt, 20 04 22 13:56, p. 37.

46 Там же, s. 137–138.

47 Там же.

из отечественной экранизации «Преступления и наказания» 2007-го года (8 серий, режиссер: Дмитрий Светозаров) и одноименного британского 2-серийного фильма 2002-го года (режиссер: Джулиан Джарролд), где, как принято считать, образы Сони и Раскольникова особенно удались. Для этого мы смотрим один и тот же фрагмент в обеих экранизациях – ту встречу героев, где Раскольников признается Соне в совершенном убийстве. И я прошу студентов определить, в чем самое большое расхождение между русской и британской Соней. Ответ здесь достаточно очевиден: русская Сонечка (сыгранная актрисой Полиной Филоненко) ангелоподобна, заподозрить в ней проститутку почти невозможно, она прежде всего существо страдательное и любящее; британская же Соня (актриса Лара Белмонт) гораздо больше соответствует стереотипам своей профессии – в ней присутствует явно выраженная агрессия и злость. В злобе, с перекошенным лицом она кричит Раскольникову, в ответ на его объяснения о причинах убийства, не «Молчите!» – как у Достоевского, а фактически «Заткнись!» (shut up). В результате в низкий род ее занятий верится без труда, а вот в ее смирение и кротость – никак. И этот, я бы сказала, анти-пример весьма полезен, ибо высвечивает (если угодно, даже «проблематизирует») самое значимое в этом образе, тем самым направляя мысли студентов в желаемое русло. Также и Раскольников – адекватен Соне. В русском варианте (актер Владимир Кошевой) он подвержен задумчивой мечтательности, в нем есть поэтическая тонкость, тогда как в британской постановке он (актер Джон Симм) прежде всего человек дела, резкий и дерзкий, под стать озлобленной на весь мир Соне. И этот контраст помогает задуматься о замысле Достоевского, заставляет внимательно вчитаться в текст романа, чтобы самостоятельно определить, какая трактовка адекватна этому замыслу.

Тем более, что именно линия безоглядного прощения и милосердия, сострадания и человечности служит наилучшей привязкой к более общей теме русской культурной традиции в ее развитии, к иллюстрациям преемственности. И среди множества возможных примеров я выбираю стихи Владимира Высоцкого и прозу Сергея Довлатова – как наиболее внятное и лаконичное отражение этих христианских ценностей в их русском варианте, к тому же хронологически близкое. И потому мы слушаем со студентами песню Высоцкого «Дорожная история» и читаем отрывок из довлатовской «Зоны». Приведу оба текста. В довлатовском сюжете главного героя Алиханова конвоирует на гауптвахту его друг и сослуживец Фидель за провинность, в которой на самом деле повинны оба. В начале путешествия их неравные роли никак не проявляются, но вот наступает момент, когда равновесие нарушено:

«Я посмотрел туда, где сияло квадратное окошко, дрожащий розовый маяк.

Затем шагнул в сторону, оставляя позади нелепую фигуру конвоира.

Тогда Фидель крикнул:

– Стой!

Я обернулся и говорю:

– Хочешь меня убить?

Он произнес еле слышно:

– Назад!

Тут я обругал его последними словами. Теми, что слышал на лесоповале у костра. и около КПП на разводе. И за карточным столом перед дракой. И в тюрьме после шмона...

– Назад, – повторил Фидель...

Я шел не оборачиваясь. Я стал огромным. Я заслонил собой горизонт. Я слышал, как в опустевшей морозной тишине щелкнул затвор. Как, скрипнув,

уступила боевая пружина. И вот уже наполнился патронник. Я чувствовал под гимнастеркой все девять кругов стандартной армейской мишени...

И тут я ощутил невыносимый приступ злости. Как будто сам я, именно сам, целился в этого человека. И этот человек был единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала ответственность за все превратности моей судьбы. Вот только лица его я не успел разглядеть...

Я остановился, посмотрел на Фиделя. Вздрогнул, увидев его лицо. (В зубах он держал меховую рукавицу.) Затем что-то крикнул и пошел ему навстречу.

Фидель бросил автомат и заплакал. Стаскивая зачем-то полушубок. Обрывая пуговицы на гимнастерке.

Я подошел к нему и встал рядом.

– Ладно, – говорю, – пошли...».

Ровно ту же готовность к прощению, ту же щедрость души, не помнящей зла, находим и в стихах Высоцкого, которые в России знают все, в Британии же практически никто. Это по сути, как часто у Высоцкого, мини-новелла, полная драматизма, которую при желании можно было бы развернуть в роман, достойный как раз пера Достоевского, где люди тоже существуют на краю своих возможностей, на волосок от гибели, духовной ли или физической, ибо всё те же трагические вопросы бытия поставлены там ребром. (Интересно, что и Довлатова, как ни странно, тоже можно содержательно сравнить с Достоевским – и это уже было сделано! Стоит вспомнить хотя бы замечание американского критика Адама Гуссова о том, что «характеры у Довлатова горят так же ярко, как у Достоевского, но в гораздо более легкомысленном аду»⁴⁸). Итак, мы слушаем со студентами песню Высоцкого, перевод которой на английский я им предоставляю:

Я вышел frostом и лицом –

Спасибо матери с отцом;

С людьми в ладу – не понукал, не помыкал;

Спины не гнул – прямым ходил,

И в ус не дул, и жил как жил,

48 Цитируется по AR'JEV, Andrej., «Naša malen'kaja žizn'». Vstupitel'naja stat'ja k «Sobraniju sočinenij Sergeja Dovolatova v 3-ch tomach». Limbus-Press, SPb., 1993, [Elektronnyj resurs] URL: http://www.sergeydovlatov.ru/index.php?cnt=7&sub=10_20_04_22_13:57.

И голове своей руками помогал...
 Бродяжил и пришёл домой
 Уже с годами за спиной,
 Висят года на мне – ни бросить, ни продать.
 Но на начальника попал,
 Который бойко вербовал,
 И за Урал машины стал перегонять.
 Дорога, а в дороге – МАЗ,
 Который по уши увяз,
 В кабине – тьма, напарник третий час молчит,
 Хоть бы кричал, аж зло берёт:
 Назад пятьсот,
 пятьсот вперёд,
 А он зубами «Танец с саблями» стучит!
 Мы оба знали про маршрут,
 Что этот МАЗ на стройках ждут.
 А наше дело – сел, поехал. Ночь, полночь...
 Ну надо ж так! Под Новый год!
 Назад пятьсот,
 пятьсот вперёд!
 Сигналим зря – пурга, и некому помочь!
 «Глуши мотор, – он говорит, –
 Пусть этот МАЗ огнём горит!»
 Мол видишь сам – тут больше нечего ловить.
 Мол, видишь сам – кругом пятьсот,
 И к ночи точно занесёт,
 Так заровняет, что не надо хоронить!
 Я отвечаю: «Не канючь!»
 А он – за гаечный за ключ
 И волком смотрит (он вообще бывает крут).
 А что ему – кругом пятьсот,
 И кто кого переживёт,
 Тот и докажет, кто был прав, когда припрут!
 Он был мне больше чем родня –
 Он ел с ладони у меня,
 А тут глядит в глаза – и холодно спине.
 А что ему – кругом пятьсот,
 И кто там после разберёт,
 Что он забыл, кто я ему и кто он мне!
 И он ушёл куда-то вбок.
 Я отпустил, а сам прилёг,
 Мне снился сон про наш «весёлый» наворот.
 Что будто вновь – кругом пятьсот,

*Ищу я выход из ворот,
 Но нет его, есть только вход,
 и то не тот...
 Конец простой: пришел тягач,
 И там был трос, и там был врач,
 И МАЗ попал, куда положено ему.
 И он пришёл – трясётся весь...
 А там – опять далёкий рейс,
 Я зла не помню – я опять его возьму!*

Заключение

Задача открыть студентам-британцам мир Достоевского требует комплексного решения, ибо неотделима от задачи приобщения их к идейно-семантическому полю русской культуры во всей ее целостности. Если в результате они почувствуют тот самый «русский дух», о котором не без лукавства, но и с достаточной долей серьезности писал Пушкин, если ощутят отличительные черты русского культурного наследия, ту самую совесть русской классики, которой она выделяется в мировой словесности, и ее зашкаливающую одержимость метафизикой, проклятыми вопросами бытия, то можно считать преподавательскую миссию выполненной. Ибо итог индивидуального приобщения к литературной сокровищнице нации неосязаем, его нельзя измерить – он проявляется в духовном росте читателя, в новом настрое души, если угодно, в новом ее измерении. В готовности к межкультурному диалогу, в той всемирной отзывчивости, о которой говорил Достоевский применительно к России. И их восприятие Достоевского во многом зиждется на этой обще-культурной основе, ибо оказывается вписанным в русский литературный контекст, где невидимые нити протягиваются из классического наследия в предсказанную Достоевским современность. Во всяком случае, именно к этому я стремлюсь.

Кроме того, я надеюсь, что несмотря на иноязычие, на переводную природу текста, по которому студенты знакомятся с романом, они всё равно оказываются втянутыми в его магическую воронку, в его «фантастический реализм», где происходит смычка «абсолютной достоверности с абсолютной невозможностью»,⁴⁹ ибо мы, оставаясь во внешнем мире, полностью погружаемся в подводный, внутренний. И в этой связи мне кажется важным показать студентам еще одну ипостась писателя – поэтическую, мечтательную, тонко-чувствующую, без которой, пожалуй, невозможно прикоснуться ни к тайне человека, ни к тайне мироздания. И постижение Достоевским этой тайны, его обращение в писателя, в художника, так емко и точно выражено в его «Петербургских свидениях в стихах и прозе», что я не могу не привести студентам и этот отрывок:

49 MELICHOV, Aleksandr: «*Liš' slovu žizn' dana*». Zvezda, [Elektronnyj resurs] URL: https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=3830_20_04_22_13:57.

«Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил фронтальный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зарю, догоравшей в мгlistом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов... Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную фрезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искуритя паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне знакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование...»⁵⁰

Эти строки, на мой взгляд, как бы замыкают круг, совмещающий философскую, этическую составляющую произведений Достоевского с эстетической, форму с содержанием. и мне хочется думать, что многое теперь, – например, один из поэтических шедевров Ахматовой «Россия Достоевского. Луна...» – уже имеет шанс не проплыть мимо, как красивый, но неосмысленный звук, а содержательно запомниться моим студентам – отозваться эхом, обрести реальное измерение, дополняя их ощущения России и ее литературы.

Конечно, было бы наивным предполагать, что за те весьма ограниченные часы, которые мы проводим в обсуждении творчества великого писателя, студентам удастся освоиться в его вселенной. Но я верю, что главный этический, чтобы не сказать антропологический, посыл романа, его философский смысл останется с ними на всю жизнь – мысль о том, что «ум без нравственности неразумен, нравственность же разумна и без ума»,⁵¹ понимание, что без Бога «человек плох или ужасен. Он покоряется воле Бога или живет по личному, чаще всего подлому, своеволию».⁵² Стало быть, пусть на самую незримую малость, но их душа станет подвижней в направлении большей чуткости. А это значит, что мы с ними – как читатели – внесли свою лепту в то дело, которому Достоевский посвятил жизнь

50 DOSTOJEVSKIJ, Fedor: «Peterburgskije snovidenija v stichach i proze», [Elektronnyj resurs] URL: http://az.lib.ru/d/dostoevskij_f_m/text_0380.shtml 20 04 22 13:58.

51 ISKANDER, Fazil': «Ponemnogu o mnogom. Slučajnyje zapiski». Novyj Mir, № 10, 2000, [Elektronnyj resurs] URL: https://magazines.gorky.media/novy_mi/2000/10/ponemnogu-o-mnogom.html 20 04 22, 13:59.

52 Там же.

как писатель – в своем движении к цели человечества: ибо «цель человечества – хороший человек, и другой цели нет и быть не может»!⁵³

Dr. Olga Tabachnikova, Reader (Associate Professor)

School of Humanities, Language and Global Studies

Director of the Vladimir Vysotsky Centre for Russian Studies

Lead for “Representations of Migration, Diaspora and Exile in Media, Literature and Art” (UCLan MIDEX Centre)

University of Central Lancashire, Great Britain

Adelphi Road, Preston PR1 2HE, UK

otabachnikova@uclan.ac.uk

53 ISKANDER, Fazil': *Sandro iz Čegema*, [Elektronnyj resurs] URL: <http://lib.ru/FISKANDER/sandro3.txt>
20 04 22, 13:59.



This work can be used in accordance with the Creative Commons BY-SA 4.0 International license terms and conditions (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>). This does not apply to works or elements (such as image or photographs) that are used in the work under a contractual license or exception or limitation to relevant rights.
